

P1
T98

Ф. И. ТЮТЧЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПИСЬМА



252430

ЧЕЛОВСКОЕ
ОБЛАСТНАЯ
БИБЛИОТЕКА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1957



Ф. И. ТЮТЧЕВ

*Фотография С. Левицкого
конец 1860-х гг.*

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург. Вторник. 15 августа 1867.

Я попрежнему настораживаю ухо и обращаю к тебе все тот же тревожный вопрос: *ma fille Anna, ne vois tu rien venir?*¹ Впрочем, так как ты, возможно, еще на ногах и *lesefähig*², то эти несколько строк я адресую тебе.

Тешу себя надеждой, что мое поспешное возвращение в Петербург не осталось бесполезным для ваших интересов и что благодаря ему удалось отвратить угрозу второго предостережения, нависшую над «Москвой». Но в особенности мне хочется, чтобы вы верно и живо представили себе положение, как оно есть, а это, конечно, не легко, ибо оно со всех сторон нелепо. Так, например, милейший Похвиснев и теперешний управляющий министерством князь Лобанов, при моих переговорах с ними по возвращении, не без некоторой грусти жаловались мне на заботу, причиняемую им стремительностью агрессивных выпадов «Москвы», которые, по их мнению, таковы, что им придется снять с себя ответственность за последствия. Особенно взбудоражила их, как этого и можно было ожидать, одна из последних статей по поводу дополнительного указа о печати. И на этот раз тоже речь идет не о существе вопроса, но о форме, и только форме. Они охотно допустили бы какую угодно критику по поводу принятой меры, лишь бы она была предъявлена в менее колющем виде, менее резко и с некоторым оттенком банальной и официальной почтительности по отношению к власти, которую они считают себя обязанными поддерживать во что бы то ни стало, хоть и стонут под бременем этой обязанности. Но *ливрея* обязывает, так же как и благородное происхождение, и они твердо убеждены, что соблюдением этого этикета укрепляется безопасность правительства... Я, разумеется, ухватился за случай высказать им весьма горькие истины по поводу гораздо более серьезного вреда, который чинят престижу правительства неопикуемые стеснения в управлении печатью, полное отсутствие разумности и честности в решениях высших

¹ Моя дочь Анна, не видишь ли ты приближение чего-либо?
(франц.)

² Способна читать (нем.).

инстанций, рабская или корыстная снисходительность к одним и грубая строгость к другим. Для подкрепления этих утверждений у меня не было недостатка в примерах и фактах: Катков — с одной стороны, с другой — «Весть», пресловутая статья в «Биржевых ведомостях» и т. д., и т. д., и т. д. Мне не противоречили, даже признали нелепость существующего режима по делам печати. Но тем не менее *служба обязывает*, и с этого их не сбить... Итак, было бы бесполезно стараться внести сколько-нибудь разумности в такой режим; среди всей этой глупости можно двигаться лишь ощупью, — так, например, всякий раз, как зайдет речь о каком-нибудь правительственном акте, особенно о новом, следует тщательно воздерживаться от сарказма, — от сарказма в особенности — они его не выносят, — и доказывать им, что они дураки, почтительно прося прощения за столь великую вольность. Прежде всего следует придерживаться известной формы и, может быть, этой ценой удастся *спасти самую суть*, что важнее всего. Тысячу нежностей твоему мужу.

49

М. Ф. БИРИЛЕВОЙ

<Петербург. Вторая половина августа 1867.>

Обращаюсь теперь к тебе, моя милая Мари, чтобы поблагодарить тебя за письмо, несколько успокоившее и очень заинтересовавшее меня. Что касается моих опасений, которые могли бы быть устранены лишь личным присутствием, отсылаю тебя к тому, что я только что написал маме, умоляя тебя *никогда ничего не скрывать* от меня под предлогом оберегания моих нервов, не стоящих того, чтобы о них заботились, да к тому же ничто не могло бы лучше успокоить и наладить их, как полная уверенность в том, что я точно осведомлен...

Что касается подробностей, которые ты сообщаем мне относительно того, что происходит у тебя на глазах, то твое свидетельство представляет для меня такую цену, что я хочу сообщить эту часть твоего письма Аксакову для его личного сведения.

Увы! ничто не позволяет думать, чтобы факты, отмечаемые тобою в Брянском уезде, являлись исключением. *Разложение* повсюду. Мы двигаемся к пропасти не от из-

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург. 3 декабря <1867>.

Моя милая дочь, если что-либо могло увеличить мое нежное уважение к твоему мужу, так это, без сомнения, тот акт гражданского мужества, который он только что совершил, и, судя по впечатлению, произведенному здесь его статьей, все русское общество разделяет это чувство. Я советовал ему другое, но очень охотно признаю, что он поступил лучше, последовав своему собственному побуждению... Практический результат сего в божьей воле. Но факт столь добросовестно-энергического протеста... нравственной силы против того... что не является ею — никогда не пропадет. Еще раз, здесь впечатление было общее и весьма серьезное.

Отныне всем будет ясно, что те условия, какие предъявляются печати в России, таковы, что подобных им нет нигде. Разум целой страны по какому-то недоразумению подчинен не произвольному контролю правительства, а безапелляционной диктатуре мнения *чисто личного*, мнения, которое не только в резком и систематическом противоречии со всеми чувствами и убеждениями страны, но, сверх того, и в прямом противоречии с самим правительством по всем существенным вопросам дня; и именно в силу той поддержки, какую печать оказывает идеям и проектам правительства, она будет особенно подвержена гонениям этого личного мнения, облеченного диктатурой. Подобной аномалии не бывало никогда и нигде, и невероятно, чтобы не искали способа ее устранить. Однако уже несколько дней, как в известном кругу усиленно поговаривают о том, чтобы принять положение, выдвинутое прежде, то есть чтобы третье предостережение зависело от разрешения Комитета министров. Это немного, я знаю, но все-таки кое-что. Нам-то с тобой хорошо известно, что зло не в этом, что оно коренится глубже. Есть *привычки* ума, под влиянием коих печать сама по себе уж является злом, и, хоть бы она и служила власти, как это *делается у нас* — с рвением и убеждением, — но в глазах этой власти всегда найдется нечто лучшее, чем все услуги, какие она ей может оказать: это — чтобы печати не было вовсе. Содрогаешься при мысли о

жестоких испытаниях, как внешних, так и внутренних, через которые должна пройти бедная Россия, прежде чем покончит с такой прискорбной точкой зрения... Пока же, моя добрая Анна, я с мучительным беспокойством жажду знать, как отразилась на твоём здоровье эта мучительная развязка, которую ты всегда предвидела и считала неизбежной, и какие материальные последствия она будет иметь для вас.

С нетерпением жду известий от вас. Жму руку Ивану Сергеевичу. Я счастлив и горд, что такой человек, как он, является твоим мужем. Да хранит вас бог.

53

Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. Вторник, 26 марта 1868.

Милая моя дочь. Повидимому, мне суждено было испытать на себе истину изречения, что человека предаёт домашний его, — и вот на такого-то рода предательство, без сомнения совершенно неумышленное, я и собираюсь тебе жаловаться. Речь идет о только что появившемся, весьма ненужном и весьма бесполезном издании сборника виршей, которые были бы годны разве лишь на то, чтобы их забыли. Но так как, несмотря на все отвращение, которое я принципиально к этому питал, я кончил тем, что дал свое согласие — из чувства лени и безразличия, то потому и не имею права на это сетовать. Все же я имел основание надеяться, что издание будет сделано с известным разбором и что не напихают в один жиденький томик целую кучу мелких стихотворений «на случай», всегда представлявших лишь самый преходящий интерес данного момента; вновь же воспроизведенные, они тем самым становятся совершенно смешными и неуместными. Я отделаюсь тем, что окажусь в роли тех жалких рифмачей, которые по-дурацки влюблены в малейший вырвавшийся у них стишок, — и хотя я, пожалуй, и не совсем в таком положении, но уж примирюсь, без особого труда, из одного отвращения и безучастия, даже с этой нелепой бессмыслицей. Однако то, что в этой несчастной книжонке воспроизвели несколько строк по адресу князя Вяземского, позаботившись проставить в

заголовке его имя, его собственное имя! — это, признаюсь, уже слишком... и я настоятельно умоляю, чтобы, если возможно, избавили меня от неминуемых последствий этой проделки... Я попытаюсь временно приостановить продажу издания у здешних книготорговцев до тех пор, пока не исправят эту удивительную оплошность, сохранив, если возможно, злосчастное стихотворение, но без упоминания Вяземского. Следовало бы позаботиться о том, чтобы внести ту же поправку и в оглавление...

И столько возни по поводу такого совершенно ненужного пустяка, от которого так легко было воздержаться! Бедный, милый Аксаков! Вот вся благодарность, которую он получит от меня за все свои старания... Зато большую благодарность он получит после выхода первого номера его «Москвы», ожидаемого здесь с живейшим нетерпением.

Тысячу дружеских приветствий дяде Сушкову. Его книга о покойном Филарете читается поистине с большим интересом, последние страницы захватывающи.

А теперь, милая моя дочь, позволь мне обнять тебя и пожелать тебе, так же, как и всему семейству, хорошо провести праздники. Храни вас бог.

Ф. Тютчев

54

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 9/21 апреля 1868.

Мне думается, милая моя дочь, что мне пора напомнить о себе, и для этого пользуюсь случаем, вполне естественно представляющимся мне при приближении годовщины дня, с которого между нами возникли отношения некоторой близости. Это восходит, правда, к временам столь же далеким, как эпоха Троянской войны, даже воспоминание о коих для меня не более, как сон, почти совсем изгладившийся из памяти. И вот таким-то образом все, что было нами, постепенно испаряется, по мере того как по той или другой причине перестаешь заботиться о разрешении всех мелких затруднений. Но ощущение еще живого прошлого постоянно охватывает меня всякий раз, когда мне случается

проходить по большой набережной мимо того пустого места, которое занимал когда-то последний дворец, где ты жила и где провела столько часов, казавшихся тебе такими долгими и такими томительными, а теперь превратившимися в ничто. Но на сей раз по крайней мере стены, которые видели тебя страдающей, имели скромность исчезнуть, а это, по-моему, более переносимо для человеческого чувства, нежели бесстрастная устойчивость материальных вещей, которые видели наш жизненный путь и больше о нас не вспоминают.

Мне хочется думать, дочь моя, что ты прочтешь эти несколько строк прекрасным весенним утром, под лучезарным солнцем, среди одушевления жизни, идущей своим обычным ходом, и испытаешь лишь мимолетное чувство снисходительной жалости ко всем этим общим местам, — не более реальным, чем все остальное, — написанным бедным стариком, унылым и мрачным.

Предоставляю другим, более предприимчивым, чем я, заботу рассказать тебе, моя милая дочь, о том, что здесь происходит, как будто можно письменно передать друг другу нечто большее, чем листок белой бумаги с небольшой долей чернил на ней. А мне, мне нужно твое действительное присутствие, и нет ничего невероятного в том, что в течение лета я устрою себе этот праздник. — Такое свидание убедит нас в нашем обоюдном бытии и поможет нам думать иногда друг о друге. Но прежде всего береги себя и да будет жизнь твоя легка. Целую тебя от глубины моего сердца.

55

Н. И. ТЮТЧЕВУ

Петербург. 13 апреля <18> 68.

Благодарю тебя, друг ты мой, за любовь твою к нам, столько раз выказанную на деле, и которая не нуждалась бы в новых выражениях, но в таком деле нас — а меня и по-давно — глубоко тронуло твое деятельно-заочное участие в этом несколько неожиданном семейном деле. Еще раз благодарю.

Предстоящий брак, конечно, довольно своеобразен. Точно ребенок, который из любви к своей доброй няне вдруг

бы женился на ней. Но так как бедному Диме, кажется, уже предназначено в некоторых отношениях всю жизнь оставаться ребенком и, следовательно, нуждаться в няне, то подобный брак и был для него единственно возможным, единственно целесообразным. Она, — будущая жена его, — очень добрая, разумная девушка, уже отрекшаяся было от всякого замужества и только вследствие своей почти материнской заботливости о Дмитрие решившаяся, наконец, и не без труда, выйти за него замуж... Вся эта история несколько оживила во мне память о моих страстных отношениях во время оно к давно минувшему Николаю Афанасьевичу.

Вчера я писал к Анне. Опасения мои были основательны: предостережение состоялось. На этот раз оно просто было вызвано оскорбленным самолюбием Похвиснева, но потворство такому дрянному делу со стороны Тимашева не предвещает ничего хорошего. Все они более или менее мерзавцы, и, глядя на них, просто тошно, но беда наша та, что тошнота наша никогда не доходит до рвоты. Была речь в Главном управлении о предании газеты суду и об ее совершенном прекращении в случае осуждения, но, разумеется, на это они не отважились, и вот что должно бы было втоптать в грязь это подлое ведомство: это его рассчетливая тупость при таком грубом произволе. Они чувствуют себя как бы в простенке между общественным мнением и самостоятельным судом и в этой пустоте душат втихомолку все, что у них под рукою. — А иногда и на самого Аксакова становится досадно за то, что он — конечно, в ущерб самому себе — вызывает такие безобразные явления.

Прости, друг ты мой, надеюсь видеться с тобою в первой половине мая месяца. Господь с тобою.

56.

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург, 13/25 мая <1868>.

Я вижу, моя милая дочь, что мое бедное изображение навеяло на тебя грусть и меланхолию, и я невольно подумал о впечатлении, произведенном на Гамлета видом некоего черепа, когда-то хорошо знакомого ему и любимого

и о моем существовании. Я только что воротился из Киева, который удалось мне видеть во всем его блеске, при встрече им императорской фамилии. Но я не могу конкурировать с «Московскими ведомостями», в которых вы, конечно, прочли очень удовлетворительное описание вечера 30 июля, который не скоро забудется всеми теми, кто тут присутствовал. Теперь же я решительно на возвратном пути и не позднее 25-го числа этого месяца предполагаю водвориться в недро Комитета ин(остранной) цензуры. — Но позвольте этому возвращению предпослать мою усерднейшую и настоятельную просьбу к вашему превосходительству, заключающуюся в том, чтобы по случаю 30 августа министерство благоволило вспомнить о моем уже несколько устаревшем представлении касательно наград и повышений, испрашиваемых мною для чиновников Комитета, *вполне* их заслуживших, как это известно и вам, почтеннейший Михаил Николаевич. Древние утверждали, что Кара, хотя и хромая, но все-таки, наконец, настигает преступного. Пускай же и Награда возьмет пример с этой неторопливой, но верной возмездницы... В особенности смею обратить ваше благосклонное внимание на З. М. Добровольского, кассира нашего Комитета, самого честного и усердного сподвижника нашего, и труд которого далеко не соразмерно оплачивается его скудным жалованием.

Извините, прошу вас, многоуважаемый Михаил Николаевич, что еще до моего появления я начинаю докучать вам... Но мне было бы крайне прискорбно, если бы пользы людей, мне близких, могли пострадать от моего случайного отсутствия из Петерб(урга):

Примите уверение в моем истинном уважении и преданности.

Ф. Тютчев

61

А. Ф. АКСАКОВОЙ

С.-П(етербург.) 3 апреля 1870.

Если я тоже, моя милая дочь, так долго молчал, то потому, что ничего не мог рассказать интересного, хотя бы даже сна, столь занимательного, как твой, который и в передаче поразил меня своей образностью. Что за таинственная вещь сон, в сравнении с неизбежной пошлостью

действительности, какова бы она ни была!.. И вот почему мне кажется, что нигде не живут такой полной настоящей жизнью, как во сне...

Если то, что мы делаем, ненароком окажется историей, то уж, конечно, помимо нашей воли. И, однако, это — история, только делается она тем же способом, каким на фабрике ткуются гобелены, и рабочий видит лишь изнанку ткани, над которой он трудится.

Третьего дня у нас были поставлены в театре славянские живые картины перед весьма многочисленной публикой, выказавшей больше похвального рвения, нежели понимания. Присутствовали все великие князья и т. д. и т. д. Вспомнив то, что было пятнадцать лет назад, приходишь к неоспоримому выводу, что идея сильно подвинулась... *E pur si muove*,¹ хотя в некоторые минуты это движение ощутимо не более, чем движение земли...

Недавно здесь по поводу назначения князя Оболенского было произнесено другое имя, и его не слишком испугались. Зато в известной клике раздражение, если не тревога, было очень сильно... Намедни мне пришлось участвовать в почти официальном споре по вопросу о печати, и там было высказано — и высказано представителем власти — утверждение, имеющее для некоторых значение аксиомы, — а именно, что свободная печать невозможна при самодержавии, на что я ответил, что там, где самодержавие принадлежит лишь государю, ничто не может быть более совместимо, но что действительно печать, — так же, как и все остальное, — невозможна там, где каждый *чиновник* чувствует себя самодержцем. Весь вопрос в этом. Но дабы признать, что это так, следует, чтобы и самодержец в свою очередь не чувствовал себя *чиновником*.

Но прости, дочь моя, — это словопрение должно казаться тебе тошнотворным, каково оно и есть на самом деле; буду же для разнообразия говорить о другом, о себе, например, т. е. своем здоровье — старой и жалкой ветоши, которую надо бы кое-как подправить, но тут-то мне и недостает убеждения, вот почему я до сих пор пребываю в полной нерешительности относительно того, что мне делать будущим летом. В данную минуту у меня твердо установлено лишь одно: намерение съездить к вам в Москву в следующем

¹ А все-таки она вращается (*итал.*).

месяце. Все эти планы, ежегодно возникающие у живых, производят странное впечатление, когда их встречаешь в переписке тех, которых уже нет... и именно так я вполне естественно рассматриваю свои собственные планы.

Да хранит вас бог.

62

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Тёплиц. 31 июля/12 августа <1870>.

То, что происходит перед нашими глазами, уже не действительность. Это как бы сценическое представление большой драмы, задуманной и поставленной по всем правилам искусства. Все так ясно, так хорошо обосновано, так последовательно. Кажется, будто читаешь на афише какое-нибудь знакомое заглавие: «Наказанный плут» или нечто в этом роде... С другой стороны, размах событий ускользает от всех людских оценок.

Война началась ровно *восемь* дней назад, и вот уже судьба Франции поставлена в зависимость от случайности одного сражения, которое, быть может, разыгрывается в настоящую минуту. И дело идет не о чем ином, как о падении, явном и очевидном падении страны, общества — целого мира, каким является Франция. Думается, будто гредишь.

Прежде всего вот французская армия; она всегда почиталась чем-то из ряда вон выходящим и совершенным, а не лучше австрийцев сопротивляется превосходству прусских армий. Происходит нашествие в обратном порядке: французская земля заплонена, столица, Париж, объявлена на осадном положении, отчизна в опасности, и императрица Евгения, подобно второй Жанне д'Арк в кринолине, вызывается взять на себя спасение Франции. Эта примесь смешного в событиях наиболее трагических всегда бывала признаком великих явлений и завершающихся судеб.

Благодаря тому, что Вторая наполеоновская империя представляет собой как бы подделку под Первую, можно точной исторической формулой определить фазис, в какой она вступила: это Сто дней Наполеона III. Поэтому каждый,

у кого в памяти сохранились гнусные подробности той эпохи, читает как бы по *либретто* все, что должно произойти теперь: борьба партий не на живот, а на смерть, и подлое предпочтение низких выгод. Хорошо, если б я ошибался в своих предвидениях! Ведь падение Франции, сколь ни заслужено оно глубоким внутренним разложением нравственного чувства, было бы тем не менее огромным бедствием со всех точек зрения, особливо же с точки зрения нашей собственной будущности... Ибо насколько соперничество сил, образующих Западную Европу, составляет главнейшее условие этой будущности, настолько же окончательное преобладание одной из них явится страшным камнем преткновения на открывшемся перед нами пути, и пуще всего на свете — неминуемое осуществление объединения Германии, этого пробуждения легендарного Фридриха Барбароссы, которого мы увидим живьем выходящим из его пещеры. Зрелище величественное и прекрасное, должен с этим согласиться, но я был бы в отчаянии оказаться его зрителем... И подумать только, что постановке этого великолепного спектакля способствовал скоморох, именующийся Н(аполеоном) III! В результате он явится *восстановителем империи*, но только не своей, а империи вражеской. Не пройдет и месяца, как все эти вопросы будут решены. Еще раз — это сон...

Пока что я начал ванны, и это лечение, повидимому, принесет пользу. Тысячу нежностей Аксакову. Ах, если бы он был здесь!..

До скорого свидания, моя милая дочь. Право, мне немного совестно, что у тебя такой болтливый отец. Да хранит вас бог.

63

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Тёплиц. 1/13 августа <1870>.

Вот, моя милая Дарья, подробности, которые ты у меня просила. Я только что узнал их из письма, переданного мне П. Мельниковым. По тому впечатлению, какое они произведут на тебя, ты сможешь судить о том состоянии,

Петербург. 22 ноября <1870>.

Да, конечно, дочь моя, я совершенно был удовлетворен адресом, и на этот раз не только его формой, но и по существу и считаю, что правительство, которое послушалось бы благого совета принять его во всей целости, оказалось бы весьма сильным перед лицом Европы. Но случится ли это? Можно ли рассчитывать на подобное озарение? Увы! в этом позволительно усомниться... Неурядица, непоследовательность действий, происходящая в значительной мере оттого, что у нас нет правильного понимания собственных побуждений, — вот в чем наше несчастье. А это заставляет и других сомневаться в серьезности наших решений. Между тем в современном кризисе нет ничего серьезнее решительности, с какой к нему приступают, нет ничего более серьезного и благородно-национального, чем личное вдохновение государя. Это, безусловно, так, и теперь уже не приходится сомневаться, что мысль стряхнуть с себя позор последнего трактата была одной из великих забот его жизни и преследовала его буквально днем и ночью... Он ждал только благоприятной минуты. Говорят, что подобное заявление было бы сделано еще в 1866 году, но тогдашняя война оказалась для этого недостаточно продолжительной. Теперь, несомненно, общее положение Европы гораздо благоприятнее, и политика кабинета доказала бы свою косность и тупость, если бы не сумела им воспользоваться; а такого упрека она не избежала бы даже со стороны тех, кто теперь обвиняет ее в излишней смелости. Что же касается твердости, с коей будет поддерживаться принятое решение, то на таковую, думается, вполне можно рассчитывать, и в этом отношении — как меня уверяют — государь еще более непоколебим, чем его канцлер. Мы заявим на конференции то же, что уже заявили всем кабинетам в отдельности, а именно, что уничтожение статьи 14-й трактата является с нашей стороны совершившимся фактом и что никаких изменений мы тут не допустим. Что касается прочих статей, то мы согласимся на их обсуждение и вполне охотно пойдем на более точное определение условий и гарантий *длительного умиротворения* на Востоке. И те, кто ознакомился

в свое время с депешами, опубликованными князем Горчаковым, отлично знают, что мы понимаем и что хотим сказать словами: умиротворение на Востоке. Это, в конечном смысле, система широкой административной автономии, дарованная христианам. Таково истинное положение в данный момент. То, что я здесь утверждаю, известно мне самым достоверным образом. Впрочем, стоит только прочесть публикуемую в настоящее время дипломатическую переписку, чтобы в этом убедиться. Но существует еще одно современное явление — столь же несомненное, как и твердый и достойный образ действий нашего кабинета: это — жалкое и даже омерзительное поведение петербургских салонов. Они превзошли мои ожидания, а это много значит. Если бы еще это было чувство преувеличенной тревоги, но нет — это просто наивнейшее выражение отсутствия какого бы то ни было национального чувства и понимания. На этом первоначальном фундаменте выросли всякого рода жалкие личные соображения, мелкие скверные инстинкты, и т. д. и т. д. Я встречал бывших министров и теперешних государственных деятелей, которые, на основании разглаговольствований иностранной прессы, краснели самым искренним образом за ужасный скандал, в коем мы провинились, одной своей собственной волей отбросив статью трактата, и они же заявляли, что впредь не решатся смотреть иностранцам в лицо... *Буквально* так, и все эти глупости говорились с видом раскаяния и добродетельной грусти. Для дополнения картины дурацкое и бестолковое отродье иностранных дипломатов всерьез принимало подобные манифестации наших так называемых аристократических салонов и делало глубокомысленные выводы из оппозиции *высших классов* против усвоенной правительством политики. Я в конце концов заявил некоторым господам из дипломатического корпуса, что они с таким же *успехом* могли бы справиться о настроениях народа у французской труппы Михайловского театра, как и в любом салоне или кружке изысканного петербургского общества, ибо и те и другие имеют одинаково мало общего с Россией. Правда, все это касается лишь представителей салонов. Что же до большой публики, то ее мнения в общем точно воспроизводятся здешними органами печати. Иностранная пресса тоже поняла, в чем дело; этим и объясняется ее вполне обоснованное раздражение. Она учуяла, что, вновь получив независимость

в Восточном вопросе, мы тем самым отвергли и свели на нет опеку, присвоенную западными державами; и действительно в этом и заключается смысл и значение нашего почина.

Но мои пальцы так онемели, что мне совершенно невозможно продолжать. Храни вас бог.

65

А. Ф. АКСАКОВОЙ

〈Петербург.〉 Четверг. 14 января 〈1871〉.

Благодарю, моя милая Анна, за твою искреннюю заботу о ребенке. Я не могу сказать, как я тронут. Отсылаю тебе при сем заранее засвидетельствованную у нотариуса доверенность на свободное пользование документами, которые у вас находятся. Я храню также отложенные для тебя триста рублей за пансион Феде и жду лишь твоего извещения, чтобы тебе их переслать. Но думаю, что раньше надо решить, вернется ли он в Катковский лицей или будет помещен в какое-нибудь другое учреждение. Здоровье его почти восстановилось, и можно было бы отправить его немедленно, если бы не сильные холода, стоящие в данный момент, а также и необходимость решить вопрос об его окончательном устройстве. Жду от тебя известий. Меня беспокоит то, что я, наконец, узнал о твоём здоровье, и очень опасаюсь, как бы частые выходы по этому холоду не оказались для тебя весьма пагубными. А я добился минутной передышки, но враг все еще не отступил, и я ежеминутно ожидаю возобновления атаки. Мое состояние напоминает немножко положение бедного города Парижа, который, однако, болен еще сильнее, нежели я, так что, по всем вероятностям, его сдача неизбежна; но я весьма ошибаюсь, если этому падению не будет предшествовать какая-либо ужасающая катастрофа.

Вся эта война приведет к пропасти, в которую будут увлечены дальнейшие поколения. Английская демократия волнуется и ждет лишь сигнала, дабы разразиться демонстрациями в пользу Франции против Пруссии. Все демократии материка, составляющие в сущности одну-единую демократию, последуют ее примеру.

Нынешняя война, жестокая война, столкнется с внутренней войной партий, настоящей социальной войной. Не в обиду будь сказано императору Вильгельму, его империя не будет империей мира и прогресса под сенью свободы, если б он даже того желал. Будет совсем иное. Эта война, каков бы ни был ее исход, более чем когда-либо расколется Европу на два лагеря: социальную революцию и военный абсолютизм. Все остальное, что между ними, будет раздавлено...

Что касается конференции, это — лишь одна комедия. Дело уже решено, и мы положительно в выигрыше.

Тысячу приветствий Аксакову.

Весь ваш Ф. Т.

66

Е. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

П(етербург.) Страстная суббота. (27 марта 1871.)

Здравствуй, моя милая Китти. Всего лучше будет, если я прерву наше долгое эпистолярное молчание сердечным поздравлением с завтрашним великим праздником. Ах, если бы Христос воистину воскрес в мире, — ибо спасение этого мира, хотя бы временное, может быть достигнуто лишь такой ценой.

А как твое здоровье? Ты, конечно, понимаешь, что оно ни минуты не переставало меня заботить, хотя с некоторого времени я и получаю о нем благоприятные известия от очевидцев, но вполне успокоенным себя не чувствую и успокоюсь, лишь когда увижу тебя своими глазами. И потом, что это за болезнь, которую мне ни разу не сумели определить, — столь похожая на оспу, и, однакоже, не оспа? И, наконец, как рассчитываешь ты воспользоваться будущим летом в интересах своего здоровья, ибо, разумеется, следует что-то предпринять? Подумай об этом, дочь моя, и напиши мне.

Здесь холера начинает ослабевать. Ее медовый месяц прошел. Умирать еще умирают, но больше выздоравливают. Правда, нам обещают другие болезни, столь же смертельные, — когда мы слишком привыкнем к этой.

Ты, вероятно, узнала от самой Дарьи о минутной тревоге, которую она нам причинила на днях. Но, слава богу, это обошлось без последствий, и я видел ее вчера столь же оживленной и полной жизни, как обычно. Надо сознаться, что пример Дарьи из наиболее поучительных. Он показывает, как важно для здоровья твердо принятое решение хорошо себя чувствовать.

Сегодня вечером я рассчитываю отправиться к заутрене в Зимний дворец, хотя *местный колорит* совершающегося там богослужения, несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе господа нашего восстающего из своего гроба в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскресением Христовым, а совсем иным — переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, который и является для них *благой вестью* во всем значении этого слова.

Сказано, что человек, старея, делается своей собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми: когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь в конце концов восторжествует над омертвевшими формами.

Да хранит тебя бог, дочь моя, и — тысячу нежностей всей семье.

67

А. Ф. АКСАКОВОЙ

Петербург. 17 июля <1871>.

Нет, дочь моя, я не могу вполне присоединиться к необычному надгробному слову, которое ты посвятила памяти бедного Сушкова, и его исчезновение навевает на меня большую грусть. Он связан столькими воспоминаниями с таким долгим периодом моей жизни, — теперь последним, — начиная с того времени, когда он выводил из терпения твою мать, и до последних вспышек раздражения против него моего бедного брата, что я не могу быть нечув-

ствительным к пустоте, которую он мне после себя оставляет...

Я никогда не сердился на его запальчивость старого ребенка, и теперь, когда эта запальчивость более чем обуздана смертью, она только воскрешает в моей памяти все долгое прошлое моей жизни, к которому он относится. Мир его памяти и всему этому прошлому!

Зато настоящее мучительно тревожит меня. Письма, которые моя жена пишет мне из Липецка, ее уныние и отчаяние по поводу здоровья Марии, чахнувшей, по ее словам, все более и более, твои собственные впечатления в связи с поразившим тебя видом бедного Вани, — всё это, конечно, только способствует тому, чтобы переполнить мою душу грустью и тревогой. Вчера я написал жене, умоляя ее непременно продолжать лечение кумысом и по возможности довести его до конца, а затем, по их возвращении в Овстуг, где я рассчитываю с ними свидеться в будущем месяце, мы решим, в зависимости от достигнутого результата, что предпринять зимой... Но, если явится надобность уехать за границу, я предвижу упорное сопротивление со стороны Марии, разве только она сама не признает себя достаточно больной, чтобы чувство самосохранения одержало верх. Что касается Вани, то предполагаю, что он более охотно согласится на несколько месяцев расстаться с родиной, и я теперь же спросил бы его (если бы знал, куда направить ему мои письма), не хочет ли он, чтобы я, не мешкая, предпринял кое-какие шаги, дабы выхлопотать для него отпуск на зиму.

Увы, самое трудное — особенно для некоторых натур — это во-время принять решение, смело разорвать в нужный момент магический круг колебаний рассудка и слабости воли.

Первая часть процесса только что кончилась, и для тех, кто внимательно следил за его ходом, как я, например, посещавший все заседания, вынесенный приговор должен казаться справедливым. Я был поистине восхищен талантом некоторых адвокатов, например, князя Урусова и Спасовича, о котором и не подозревал. Право, поразительно, как эти новые судебные установления быстро привились у нас. Вот где могучий зародыш новой России и лучшее ручательство ее будущности. Что касается самой сути процесса, то она возбуждает целый мир тяжелых мыслей

и чувств. Зло пока еще не распространилось, но где против него средства? Что может противопоставить этим заблуждающимся, но пылким убеждениям власть, лишенная всякого убеждения? Одним словом, что может противопоставить революционному материализму весь этот пошлый правительственный материализм? That is the question¹ и т. д. и т. д.

Э. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

Петербург. 14 сентября <1871>.

Третьего дня я присутствовал в Александро-Невской лавре на погребении бедной госпожи А. Карамзиной, длительная агония которой окончилась, наконец, 9-го числа этого месяца. Последние двадцать четыре часа, говорят, были ужасны: она кричала, не переставая. Вскрытие тела показало, что все мускулы были поражены раком, так что одна рука держалась на ниточке... И вот, перед лицом подобного зрелища, спрашиваешь себя, что все это значит и каков смысл этой ужасающей загадки, — если, впрочем, есть какой-либо смысл?

Вся эта церемония преисполнила меня печалью и тоской — и чтобы успокоиться немного, мне надобно было бы, вернувшись домой, найти тебя там, живьем... Наступает возраст, когда длительные разлуки становятся нелепостью... При всем желании нельзя избежать чувства все возрастающего ужаса, видя, с какой быстротой исчезают один за другим наши оставшиеся в живых — современники. Они уходят, как последние карты пасьянса. Есть ли какая-либо знакомая нам семья, которая бы не испытала потерь!.. И каждая новая смерть — как бы последнее предостережение, предшествующее окончательному уничтожению... По причине еще не начавшегося сезона на похоронах этой бедной мученицы было сравнительно мало народу. Мне удалось пожать руку госпоже Авроре и Лизе К(арамзиной). Вот уже пятый член их семьи умирает с тех пор, как мы с ними знакомы... Да, моя милая кисанька, давно бы пора тебе вернуться. Наде-

¹ Вот в чем вопрос (англ.).

Д. Ф. ТЮТЧЕВОЙ

〈Петербург. 1 апреля 1873.〉

Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй.

А. Ф. АКСАКОВОЙ

〈Петербург. Апрель 1873.〉

Прежде всего, моя милая дочь, поблагодари своего мужа за его превосходный русский перевод моей записки, напечатанный в «Архиве» и удесятёривший ее ценность. Эта статья явилась как раз во-время, чтобы наглядно показать тот путь вспять, который мы проделали с 57 года. Я узнал вчера, что подготавливается новый закон о печати, который всерьез в законодательной форме воспроизведет знаменитый монолог Фигаро о свободе слова. Этот закон оставит за администрацией право определять те вопросы, коих не будет дозволено касаться в печати. В нынешних условиях смелее и честнее откровенно восстановить цензуру, которая, заменив собою все это фантастическое законодательство чем-то ясным и положительным, была бы принята печатью как настоящее благодеяние. Ложные понятия имеют то неудобство, что требуют долгого времени, дабы себя изжить.

В последнем письме ты высказала одну очень верную мысль: говоря о своем муже, ты очень верно сказала, что природа, подобная его природе, способна заставить усомниться в первородном грехе, и уж если кто-нибудь имел бы право усомниться в этой тайне, объясняющей все и необъяснимой ничем, то это был бы, конечно, такой человек, как Аксаков; потому что именно безупречность его нравственной природы и давала столько силы и веса его словам и упрочивала за ним то влияние на молодежь, которое могло

бы быть ей столь полезно и, может статься, спасло бы ее, если б ему предоставили свободу действий и если бы жалкая обидчивость нескольких надутых правительственных ничтожеств не возобладала над всяким другим соображением. Ах, сколько обвинений взято на себя и сколько векселей подписано за счет будущего!

Перечитывая свою записку, которая и сейчас еще полна злободневности, я убедился, что самое бесполезное в этом мире — это иметь на своей стороне разум. Через 30 лет все, несомненно, будут думать об этих вопросах то же, что я думаю сейчас, но тем временем зло будет сделано — и, вероятно, зло непоправимое. Мне любопытно будет посмотреть, какое впечатление произведет эта статья здесь, в правительственных кругах. Это как бы манифест, обнародованный задним числом, который окажется неудобным для тех, кто спешит стереть последние следы прошлого. Но с моей стороны очень глупо интересоваться тем, что больше не имеет со мной никакой живой связи. Мне надлежало бы смотреть на себя, как на зрителя, которому после того, как занавес опущен, остается лишь собрать свои пожитки и двигаться к выходу. Пока же тысячу нежностей тебе, моя дорогая дочь, и знайте еще раз, что вы — единственные светлые точки на моем более чем затуманенном горизонте. Уверяют, что в моем состоянии есть улучшение, но я хотел бы больше его ощущать. Прощайте.